Лели-лили — снег черемух,
Заслоняющих винтовку.
Чичечача — шашки блеск,
Биээнзай — аль знамен,
Зиээгзой — почерк клятвы.
Бобо-биба — аль околыша,
Мипиопи — блеск очей серых войск.
Чучу биза — блеск божбы.
Мивеаа — небеса.
Мипиопи — блеск очей,
Вээава — зелень толп!
Мимомая — синь гусаров,
Зизо зея — почерк солнц,
Солнцеоких шашек рожь.
Лели-лили — снег черемух,
Сосесао — зданий горы...

Велимир Хлебников

ГЛАВА I
СКИФСКИЕ ШЛЕМЫ

Ну, подумать только — транспортная пробка в Москве на восьмом году революции! Вся Никольская улица, что течет от Лубянки до Красной площади через сердце Китай-города, запружена трамваями, повозками и автомобилями. Возле «Славянского базара» с ломовых подвод разгружают садки с живой рыбой. Под аркой Третьяковского проезда ржание лошадей, гудки грузовиков, извозчичий матюкальник. Милиция поспешает со своими пока еще довольно наивными трелями, как бы еще не вполне уверенная в реальности своей сугубо городской, не политической, то есть как бы вполне нормальной, роли. Все вокруг вообще носит характер некоторого любительского спектакля. Злость и та наигранна. Но самое главное в том, что все играют охотно. Закупорка Никольской на самом деле явление радостное, вроде как стакан горячего молока после сыпного озноба: жизнь возвращается, грезится процветание.

— Подумать только, еще четыре года назад здесь были глад и мор, блуждали кое-где лишь калики перехожие, да безнадежные очереди стояли за выдачей проросшего картофеля, а по Никольской только чекистские «маруси» проезжали, — говорит профессор Устрялов. — Вот вам, мистер Рестон, теория «Смены вех» в практическом осуществлении.

Два господина приблизительно одного возраста (35–40 лет) сидят рядом на заднем сиденье застрявшего на Никольской «паккарда». Оба они одеты по-европейски, в добротную комплектную одежду из хороших магазинов, но по каким-то незначительным, хотя вполне уловимым приметам в одном из них нетрудно определить русского, а в другом настоящего иностранца, более того, американца.

Парижский корреспондент чикагской «Tribune» Тоунсенд Рестон в течение всего своего первого путешествия в Красную Россию боролся с приступами раздражения. Собственно говоря, это нельзя было даже назвать приступами: раздражение не оставляло его здесь ни на минуту, просто временами оно было сродни ноющему зубу, в другие же моменты напоминало симптомы пищевого отравления.

Может быть, как раз с пищи все и началось, когда в день приезда советские, так сказать, коллеги — этот невыносимый Кольцов, этот ерничающий Бухарин — потчевали его своими деликатесами. Эта икра... даром что и в Париже сейчас безумствуют с икрой, нашли в ней, видите ли, какой-то могущественный «афродизиак»... но ведь это же не что иное, как рыбьи яйца, медам и месье! Доисторическая рыба, покрытая хрящевидными роготками... а главное все-таки — это ощущение какой-то постоянной театральности, слегка тошнотворной приподнятости, бахвальства... и вместе с этим неуверенность, заглядыванье в глаза, невысказанный вопрос. Европу они, похоже, уже раскроили на будущее, но Америка сбивает их с толку. Рестона здесь тоже что-то сбивает с толку. Прежде он полагал, что знает пружины революций. Его репортажи из Мексики в свое время считались высшим классом журналистики. Он интервьюировал членов революционных хунт во многих странах Латинской Аме-

рики. Черт побери, теперь он видит, что «гориллы» по сравнению с этими «вершителями истории» были ему ближе, как и яблочный пирог по сравнению с проклятыми «рыбьими яйцами». Неужели большевики всерьез думают, что ворочают мирами? Все было бы проще, если бы речь шла просто о захвате и удержании власти, о смене правящей элиты, однако...

Готовясь к поездке, Рестон читал переводы речей и статей советских вождей. В конце августа РКП(б) была потрясена трагической историей, связанной с Америкой. Катаясь на лодке по какому-то озеру в штате Мэн, утонули два видных большевика, председатель «Амторга» Исай Хургин и Эфраим Склянский, ближайший помощник Троцкого в течение всех лет Гражданской войны. На похоронах в Москве всесильный «вождь мирового пролетариата» выдавливал из себя слова какого-то странного, едва ли не метафизического недоумения: «...наш товарищ Эфраим Маркович Склянский... пройдя через великие бури Октябрьской революции... погиб в каком-то ничтожном озере...»

Эдакое презренье к озеру, недоумение перед «внеисторической» смертью; нет, они и в самом деле ощущают себя чем-то сродни богам Валгаллы или по крайней мере титанами из мифологии. Черт возьми, мало кто в Америке поймет, что они одержимы своей «классовой борьбой» больше, чем аурой власти... Революция, похоже, это не что иное, как пик декаданса...

Увешанный черными пальто и солдатскими шинелями трамвай тронулся и проехал на десяток ярдов вперед. Шофер наркоминдельского «паккарда», кряхтя, выворачивал руль, чтобы пристроиться в хвост общественному транспорту. Рестон, посасывая погасшую трубку, смотрел по сторонам. В мешковатой толпе иной раз мелькали чрезвычайно красивые

женщины почти парижского вида. У входа в импозантное здание аптеки стояли два молодых красных офицера. Стройные и румяные, перетянутые ремнями, они разговаривали друг с другом, не обращая ни на кого внимания. Их форма отличалась той же декадентской дикостью, что и вся эта революция, вся эта власть: престраннейшие шапки с острыми шишаками и нашитой на лбу красной звездой, длиннейшие шинели с красными полосами-бранденбурами поперек груди, отсутствие погон, но присутствие каких-то загадочных геометрических фигур на рукавах и воротнике — армия хаоса, Гог и Магог...

— Простите, профессор, позвольте задать вам один, как мы в Америке говорим, провокативный вопрос. После восьми лет этой власти, что вы считаете главным достижением революции?

Чтобы подтвердить серьезность вопроса, Рестон извлек свой «монблан» и приготовился записывать ответ на полях своего «бедекера». Профессор Устрялов весьма сангвинически рассмеялся. Он-то как раз души не чаял во всех этих «икорочках» и «стерлядках».

— Милый Рестон, не подумайте, что я над вами смеюсь, но главным достижением революции является то, что Цека стал старше на восемь лет.

По правде сказать, даже этот его сегодняшний спутник с его спотыкающимся английским в сочетании с самоуверенными переливами голоса (откуда у русских взялась эта манера априорного превосходства перед западниками?) раздражал Тоунсенда Рестона. Фигура более чем двусмысленная. Бывший министр в сибирском правительстве белых, эмигрант, осевший в Харбине, лидер движения «Смена вех», он нередкий гость в Красной Москве. Последняя его книга «Под знаком революции» вызвала разговоры

в Европе, а уж здесь-то ни одна политическая статья не обходится без упоминания его имени.

Зиновьев называет Устрялова классовым врагом, тем более опасным, что он на словах приемлет Ленина, говорит о благодетельной «трансформации центра», о «спуске на тормозах», о «нормализации» большевистской власти, о надежде на нэповскую буржуазию и на «крепкого мужика»...

Зиновьев иронизирует над Устряловым в типично большевистской манере — «курице просо снится», «как ушей своих не увидите кулакизации, господин Устрялов»... Бухарин называет его «поклонником цезаризма». Любопытно, на что́ и на кого делается намек в последнем случае?

Рестон в разговоре с Устряловым старался играть дурачка, поверхностного американского газетчика.

— Все возвращается на круги своя, — продолжал Устрялов, — ангел революции тихо отлетает от страны...

Рестон понимал, что он цитирует собственную книгу.

— Революционный жар уже позади... Победит не марксизм, а электротехника... Посмотрите вокруг, сэр, на эти разительные перемены. Еще вчера они требовали немедленного коммунизма, а сейчас расцветает частная собственность. Вчера требовали мировой революции, а сегодня только и ищут концессионных договоров с западной буржуазией. Вчера был воинствующий атеизм, сегодня «компромисс с церковью»; вчера необузданный интернационализм, сегодня — «учет патриотических настроений»; вчера прокламировался беспрекословный антимилитаризм и антиимпериализм, давалась вольная всем народам России, сегодня — «Красная Армия, гордость революции», а по сути дела, собиратель земель российских. Страна

обретает свою исконную историческую миссию «Евразии»...

По мере разгрузки подвод у «Славянского базара» движение по Никольской хоть и черепашьим ходом, но восстанавливалось. Проплывали мимо живые сцены и впрямь довольно оптимистической толпы. Октябрьский легкий морозец бодрил уличных торговцев.

Торговка пирогами и кулебяками розовощекостью смахивала на кустодиевскую купчиху. Веселый инвалид на деревянной ноге растягивал меха гармошки. Рядом торговали какими-то чертиками в стеклянных банках. Проезжающему американцу было невдомек, что диковинка называлась «Американский подводный житель».

— Ба, открылась Сытинская книжная лавка! — воскликнул Устрялов, обращаясь к американцу по-русски и как бы к своему, но потом, сообразив, что тому ничего не говорит это название, с улыбкой прикоснулся к твидовому колену. — В области литературы и искусства здесь сейчас полный расцвет, сэр. Открыты кооперативные и частные издательства. Даже газеты, хоть и все остались в руках большевиков, гораздо меньше пользуются трескучей пропагандой и больше дают прямой информации. Словом, болезнь позади, Россия стремительно выздоравливает!

С торцовой стены дома, что здесь, как и в Германии, именуется брандмауэром, смотрела афиша кинофильма — некто в цилиндре, смахивающий на Дугласа Фербенкса, завитая блондинка, которая вполне могла оказаться Мэри Пикфорд. Там же какие-то жалкие рисунки в кубическом стиле, большие буквы кириллицы. Если бы Рестон мог читать по-русски, он бы понял, что рядом с афишей голливудского боевика наклеен призыв Санпросвета «Вошь и социализм несовместимы!».

— Ну что же люди партии, армии, тайной полиции? — спросил он Устрялова (он произносил «Юстрелоу»). — Вам кажется, что и они проходят такую же трансформацию?

С подвижностью, свойственной мягким славянским чертам, лицо профессора переменило выражение экзальтации на серьезную, даже отчасти тяжеловатую задумчивость.

— Вы затронули самую важную тему, Рестон. Видите ли, еще вчера я называл большевиков «железными чудищами с чугунными сердцами, машинными душами»... Хм, эта металлургия не так уж неуместна, если вспомнить некоторые партийные клички — Молотов, Сталин...

— Сталин, кажется, один из... — перебил журналист.

— Генеральный секретарь Политбюро, — пояснил Устрялов. — Основные вожди, кажется, не очень-то ему доверяют, но этот грузин, похоже, представляет крепнущие умеренные силы. — Он продолжал: — Только такие чудища с их страшными рефлекторами конденсированных энергий могли сокрушить российскую твердыню, в которой скопилось перед революцией столько порока. Однако сейчас... Видите ли, тут вступает в силу эрос власти, который у этих людей очень сильно развит. Машинные теории вытесняются человеческой плотью.

— Интересно, — пробормотал Рестон, непрерывно строча «монбланом» на полях «бедекера». Устрялов усмехнулся — еще бы, мол, не интересно.

— Мне кажется, этот процесс проходит во всех сферах, как в партии, так и особенно в армии. Вы вроде обратили внимание на двух молодых командиров возле аптеки. Какая выправка, какая стать! Это уже не расхристанные чапаевцы, настоящие профессио-

нальные военные, офицеры, хоть и в странной, на западный взгляд, форме. Кстати, о форме. Принято считать, что она чуть ли не самим Буденным придумана, а она, между прочим, была заготовлена еще в шестнадцатом году по макетам художника Васнецова Виктора Михайловича, так что здесь мы как бы видим прямую передачу традиции... Скифские мотивы, батенька мой, память о пращурах!

Устрялов вдруг прервался на восклицательном знаке и посмотрел на американца с неожиданным удивлением. Что он там пишет, как будто понимает все, что я ему говорю? Кто из них вообще может это постичь, невнятицу срединной земли, перемешанного за пятнадцать веков народа? Всякий раз приходится обрывать себя на экзальтированной ноте. Сколько раз твердил себе — держись британских правил. Understatement — вот краеугольный камень их устойчивости. Он кашлянул:

— Что касается ОГПУ, или, как вы это называете, тайной полиции... Как вы думаете, еще четыре года назад смог бы эмигрантский историк разъезжать по Москве с иностранным журналистом в машине Наркоминдела?

— Значит, вы не боитесь? — спросил Рестон с прямотой квотербека, посылающего мяч через полполя в зону противника.

Машина тем временем уже проехала всю Никольскую и остановилась там, где ее, очевидно, просили остановить заранее, возле вычурного фасада Верхних торговых рядов. Здесь профессор Устрялов и американец Тоунсенд Рестон, представляющий влиятельную газету «Чикаго трибюн», покинули экипаж и далее проследовали пешком по направлению к Красной площади. Напрягая слух, шофер еще некоторое время мог слышать высокий голос «сменовеховца»:

«...Разумеется, я понимаю, что мое положение до крайности двусмысленно, — в кругах эмиграции многие считают меня едва ли не чекистом, а в Москве вот Бухарин на днях объявил...»

Дальнейшее было покрыто гулом хлопотливой столицы.

Едва лишь две фигуры в английских пальто скрылись из виду, к «паккарду» подошел некто в мерлушковой шапке, субъект с усиками из той породы, что до революции назывались «гороховыми» и не изменились с той поры ни на йоту.

— Ну что, механик, о чем буржуи договаривались? — обратился он к шоферу.

Шофер устало потер ладонью глаза и только после этого посмотрел на обратившегося, да так посмотрел, что шпик сразу же осел, тут же сообразил, что перед ним и не шофер вовсе.

— Уж не думаете ли вы, любезнейший, что я в а м буду переводить с английского?

Вдруг над Верхними торговыми рядами и над запруженными улицами старого Китай-города полетели «белые мухи», первый, пока еще легкий и бодрящий, снегопад осени 1925 года.

Между тем молодые командиры, чья внешность навела двух джентльменов из пролога, которые, очевидно, больше и не появятся в пространстве романа, на столь серьезные размышления, все еще продолжали беседовать у подъезда аптеки Феррейна.

Комбриг Никита Градов и комполка Вадим Вуйнович были ровесниками и к моменту начала повествования достигли двадцати пяти лет, имея за плечами несметное число диких побоищ Гражданской войны, то есть они были, по тогдашним меркам, вполне зрелыми мужчинами.

Градов служил в штабе командующего Западным военным округом командарма Тухачевского, Вуйнович занимал должность «состоящего для особо важных поручений при Реввоенсовете», то есть был одним из главных адъютантов наркомвоенмора Фрунзе. Друзья не виделись несколько месяцев. Градов, коренной москвич, по долгу службы обитал в Минске, тогда как уралец Вуйнович после назначения в Реввоенсовет заделался настоящим столичным жителем. Эта превратность судьбы немало его забавляла и давала повод посмеяться над Никитой. Прогуливаясь с другом по Москве, он подмечал театральные афиши и как бы мимоходом заводил разговор о премьерах, а потом как бы спохватывался: «Ах да, у вас в Минске об этом еще не слышали, эх, провинция...» — и далее в этом духе, словом, вполне добродушный и даже любовный эпатаж.

Впрочем, о театрах эти молодые люди в буденовках говорили мало: разговор их то и дело уходил к более серьезным темам; это были серьезные молодые люди в чинах, каких в старой армии нельзя было достичь, не преодолев сорокалетнего рубежа.

Никита прибыл в Москву вместе со своим главкомом для участия в совещании по проведению военной реформы. Совещание предполагалось в Кремле, в обстановке секретности, ибо в нем должен был принять участие чуть ли не полный состав Политбюро РКП(б). Секретностью уже тогда все они были одержимы. «Партия по привычке продолжает работать в подполье», — повторяли в Москве шутку главного большевистского остряка Карла Радека. Дело несколько осложнялось тем, что шеф комполка Вуйновича, председатель Революционного военного совета, народный комиссар по военным и морским делам Михаил Васильевич Фрунзе вот уже более двух не-

дель находился в больнице с обострением язвы двенадцатиперстной кишки. ЦК, по-братски заботясь о здоровье любимца всех трудящихся, легендарного командарма, сокрушителя Колчака и Врангеля, предлагал провести совещание в его отсутствие и поручить доклад первому заместителю председателя РВС Уншлихту, однако Фрунзе категорически настаивал на своем участии, да и вообще на несерьезности своего недуга. Это и было главной темой разговора между двумя молодыми командирами у порога аптеки Феррейна, где они поджидали Веронику, жену комбрига Градова.

— Нарком просто бесится, когда ему говорят об этой проклятой язве, — сказал Вуйнович, широкоплечий человек южнославянского типа, с щедрой растительностью в виде черных бровей и усов, не обделенный и яркостью глаз. Выросший в заводском городке на Урале, он прошел со своим эскадроном до южного берега Крыма и тут, среди скал, пенистых волн, кипарисов и виноградников, понял, где лежит его истинная родина.

Романтического соблазна ради мы должны были бы сделать Никиту Градова противоположностью его друга, то есть отнести его к северным широтам, к некоей русской готике, если таковая когда-либо существовала в природе, и мы были бы рады это сделать, чтобы добавить в скифско-македонский колорит еще и варяжскую струю, однако справедливости ради мы преодолеваем соблазн и не можем не указать на то, что и Никита, хотя бы наполовину, соотносился со средиземноморской «колыбелью человечества»: его мать, Мэри Вахтанговна, была из грузинского рода Гудиашвили. Впрочем, в наружности его не было ничего грузинского, если не считать некоторой рыжеватости и носатости, что можно с равным успехом от-

нести и к славянам, и к варягам, и по крайней мере с неменьшим успехом к не вовлеченным еще в мировую революцию ирландцам.

— Послушай, Вадя, а что говорят врачи? — спросил Никита.

Вуйнович усмехнулся:

— Врачи говорят об этом меньше, чем члены Политбюро. Последняя консультация в Солдатёнковской больнице пришла к заключению, что можно обойтись медикаментами и диетой, однако вожди настаивают на операции. Ты знаешь Михаила Васильевича, он на пулеметы пойдет — не моргнет, но от ножа хирурга приходит в полное уныние.

Никита отогнул полу своей длинной шинели и достал из кармана ярко-синих галифе луковицу золотых часов, награду командования после завершения мартовской кронштадтской операции 1921 года. Вероника пропадает в дебрях аптеки уже сорок минут.

— Знаешь, — проговорил он, все еще глядя на дорогую, тяжеленькую великолепную вещь, лежащую на ладони, — мне иногда кажется, что далеко не всем вождям нравятся слишком бодрые командармы.

Вуйнович затянулся длинной папиросой «Северная Пальмира», потом отшвырнул ее в сторону.

— Особенно усердствует Сталин, — резко заговорил он. — Партия, видите ли, не может себе позволить болезни командарма Фрунзе. Может быть, Ильич был не прав, а, Никита? Может быть, «этот повар» не собирается готовить «слишком острые блюда»? Или как раз наоборот, собирается, а потому так свирепо настроен против диеты и за нож?!

Градов положил руку на плечо разволновавшегося друга — «спокойно, спокойно», — выразительно посмотрел по сторонам...

В этот момент из аптеки наконец выпорхнула Вероника, красотка в котиковой шубке, сигналящая

вспышками голубых глаз, будто приближающаяся яхта низвергнутого монарха. Пошутила очень некстати:

— Товарищи командиры, что за лица? Готовится военный переворот?

Вуйнович взял у нее из рук довольно тяжелую сумку, — чем это можно обзавестись в аптеке таким увесистым? — и они пошли по Театральному проезду, вниз, мимо памятника Первопечатнику в сторону «Метрополя».

Всякий раз, когда Вуйнович видел жену своего друга, он делал усилие, чтобы избавиться от мгновенных и сильных эротических импульсов. Едва лишь она появлялась, все превращалось в притворство. Правдивыми его отношения с этой женщиной могли быть только в постели или даже... Холодея от стыда и тоски, он осознавал, что готов был сделать с Вероникой примерно то, что однажды сделал с одной барынькой в захваченном эшелоне белых, то есть повернуть ее спиной к себе, толкнуть, согнуть, задрать все вверх. Больше того, именно эта конфигурация вспыхивала перед ним всякий раз, когда он видел Веронику.

Хамские импульсы, бичевал он себя, гнусное наследие Гражданской войны, позор для образованного командира регулярной армии красной державы. Никита — мой друг, и Вероника — мой друг, и я... их замечательный друг-притвора.

Возле «Метрополя» расстались. У Вуйновича в этом здании прямо под врубелевской мозаикой «Принцесса Грёза» была холостяцкая комната. Градовы поспешили на трамвай, им предстоял долгий путь с тремя пересадками до Серебряного Бора.

Пока тряслись по Тверской в битком набитом вагоне с противными запахами и взглядами, Никита молчал.

— Ну что опять с тобой? — шепнула Вероника.

— Ты кокетничаешь с Вадимом, — пробормотал комбриг. — Я чувствую это. Ты сама, может быть, не понимаешь, но кокетничаешь.

Вероника рассмеялась. Кто-то посмотрел на нее с удовольствием. Смеющаяся в трамвае красавица. Возврат к нормальной жизни. Суровая бабка в негодовании зажевала губами.

— Дурачок, — нежно шепнула Вероника.

С прозрачных зеленеющих и розовеющих небес летел редкий белый пух, легкий морозец как будто обещал гимназические конькобежные радости. Они проехали ветхий развал Хорошево, потом трамвай, уже полупустой, побежал к концу маршрута, к кругу Серебряного Бора. Вековые сосны парка, подернутое первой морозной пленкой озеро Бездонка, заборы и дачи, в которых уже зажигались огни и протапливались печи, — неожиданная идиллия после суматошной и, как всегда, отчасти бессмысленной Москвы.

От круга нужно было еще пройти с полверсты пешком до родительского дома.

— Что у тебя такое тяжелое в сумке? — спросил Никита.

— Накупила тебе брому на целый месяц, — бодренько ответила Вероника и искоса посмотрела на мужа.

Страдание, как всегда, сделало смешным его веснушчатое лицо. Он смотрел себе под ноги.

— К черту твой бром, — пробормотал он.

— Перестань, Никита! — рассердилась она. — Ты уже две недели не спишь после командировки. Этот Кронштадт тебя окончательно измотал!

Октябрьская командировка в морскую крепость выглядела обычной деловой поездкой высшего командира — спецвагон до Ленинграда, оттуда рейдовым

катером к причалам Усть-Рогатки. В гавани, на берегу и в городе царили полный порядок, мерная морская налаженность всех служб. Чеканя шаг, в баню и из бани, проходили взводы чернобушлатников. Иные хором пели «Лизавету». На линкорах отрабатывали приемы сигнализации. Пеликанами сновали над бухтой новомодные гидропланы. Куски времени отмерялись для всех присутствующих четкими ударами склянок. Чистый морской, как бы английский и уж, во всяком случае, очень отвлеченный от российской действительности мир.

Ничто и никто не напоминает о событиях четырехлетней давности. Только один раз, поднимаясь на форт «Тотлебен», он услышал за спиной спокойный голос:

— Я вижу, товарищ комбриг, путь вам хорошо знаком.

Он резко обернулся и увидел глаза старшего артиллериста. «Вы... вы здесь были?.. Тогда? Возможно ли?..» Позднее Никита мучился, осознав, что за этим недоумением читалось другое: «Почему же не расстреляны?»

— Я был в отпуске, — просто сказал артиллерист, не выражая решительно никаких эмоций.

— А я штурмовал ваш форт! Поэтому и путь знаю! — не без вызова приподнял голос Никита, хотя и понимал, что вызов вроде направлен не по адресу, что уж если не расстрелян артиллерист, значит облечен доверием, иначе бы непременно разделил судьбу тех, кто отвечал перед народом и революцией за тот яростный антибольшевистский взрыв марта 1921 года.

Очевидно, все-таки не совсем не по адресу была направлена фраза, если судить по тому, как артиллерист отвел глаза и молча сделал приглашающий жест вверх по трапу — прошу, мол, осчастливьте!..

Весь день Никита занимался проверкой установки новых обуховских орудий на фортах «Тотлебен» и «Петр I», вместе с представителями завода и командования Балтфлота вникал в документацию и устные пояснения артиллеристов и только к вечеру, сославшись на усталость, оказался один и ушел пешком в город.

Кажется, он уже отдавал себе отчет, что его тянет туда, на Якорную площадь, в центр тогдашних событий.

С приморского бульвара он обозревал внешний рейд и там серые силуэты двух гигантов, вроде бы тех самых; как ни старайся, из этих пушек и труб уже никогда не выбьешь память о ярости линкоров.

Свежестью и полной промытостью веяло от сентябрьского вечера, от щедрой воды вокруг, от бороздящих рейд мелких плавединиц и от подмигивающих сигналами гигантов.

В те дни все это пространство было белым, застывшим будто бы навеки и зловещим. Линкоры стояли борт к борту у стенки, покрытые льдом до самых верхних надстроек, со свалявшимся, прокопченным снегом на палубах. Никита ловил себя на том, что даже у него, лазутчика, появляется враждебное чувство к замерзшей «Маркизовой луже», как называли Финский залив военморы. По льду на крепость шли бесконечные цепи карателей в белых халатах.

Четыре с половиной года спустя, стоя у памятника Петру Великому и глядя на оживленное полноводье, комбриг РККА Градов поймал себя на другой мысли: начнись тогда мятеж на месяц позже, с ним бы не совладать. Освободившись из ледового капкана, линкоры по чистой воде подошли бы к Ораниенбауму и прямой наводкой пресекли бы все попытки концентрации правительственных сил. К «Петропавловску» и «Севастополю», безусловно, присоединились бы

два других гиганта, в марте еще торчавшие в устье Невы, — «Гангут» и «Полтава», а за ними и другие корабли Балтики. Трудно было бы поручиться даже за легендарную «Аврору», ведь и весь Кронштадт еще за неделю до мятежа считался оплотом и гордостью революции.

Непобедимость восставшего Балтфлота почти наверняка подожгла бы бикфордов шнур и вызвала бы серию взрывов по всей стране. Тамбовщина и так уже пылала. Недаром Ленин считал, что Кронштадт опаснее Деникина, Колчака и Врангеля, вместе взятых. Чистая вода принесла бы гибель большевистской республике.

Нас спас лед. Исторически детерминированные события и неуправляемые физические процессы природы находятся в странной, да что там говорить, просто в возмутительной зависимости. Лед оказался нашим главным союзником и при штурме Крыма, и при подавлении Кронштадта. Не следует ли соорудить памятник льду? Экая чушь, законы классовой борьбы, выстроенные на базисе льда, на замедлении бега каких-то жалких молекул!

Однако вовсе не эти парадоксы были главной мукой комбрига Градова. Дело было в том, что он в какие-то определенные или неопределенные моменты жизни вдруг начинал видеть в себе предателя и едва ли не душителя свободы. Казалось бы, геройская миссия была возложена на пылкого двадцатилетнего революционера, в любую минуту не пожалевшего бы жизни за Красную республику, и по-геройски эта миссия была выполнена, и все-таки...

Он медленно шел вдоль желтого с белыми колоннами здания Морского собрания, прикладывая руку к козырьку, расходясь с военморами, и даже улыбался в ответ на взгляды женщин — Кронштадт всегда славился женами плавсостава, — и вспоминал, как

в мартовскую пургу, во мраке, оставив на льду белый халат, сшитый из двух простынь, он поднялся на причал, перебежал бульвар и пошел вдоль этого здания, фальшивый моряк, братишечка что надо, даже свежая наколочка была сделана на груди: «Бронепоезд „Красный партизан“».

Дюжина сверхсекретных лазутчиков была отобрана самим командармом Тухачевским из числа самых беззаветных. К моменту решительного штурма, действуя в одиночку, они должны были выводить из строя орудия и открывать ворота фортов. Дорог был каждый час, над заливом уже начинали гулять влажные западные ветры.

В ту ночь он беспрепятственно дошел до явочной квартиры, а утром... вот утром-то и начались его муки.

Он проснулся от звуков оркестра. По залитой солнцем улице к Якорной площади маршировала колонна моряков; веселые ряшки. Над ними в ярчайшем голубом послештормовом небе рябил наспех сделанный транспарант, вполне отчетливо предлагавший сокрушительный мартовский лозунг:

«ДОЛОЙ КОМИССАРОДЕРЖАВИЕ!»

Знаки восстания были повсюду. Первое, что увидел Никита, когда вышел на улицу, имея в котомке два маузера, четыре гранаты и фальшивый мандат Севастопольского флоткома, были расклеенные на стене листки «Известий Кронштадтского совета» с призывами ревкома, информацией об отражении атак и о выдаче продовольствия, а также с издевательскими частушками в адрес вождей.

...Приезжает сам Калинин,
Язычище мягок, длинен,
Он малиновкою пел,
Но успеха не имел.

Опасаясь грозных кар,
Удирает комиссар!
Беспокоен и угрюм
Троцкий шлет ультимату́м:
«Прекратите беспорядок,
А не то, как куропаток,
Собрав верную мне рать,
Прикажу перестрелять!..»
Но ребята смелы, стойки,
Комитет избрали, тройки,
Нога на ногу сидят
И палят себе, палят!..

Эти «ребята» отрядами, поодиночке, толпами продолжали стекаться на Якорную, формируя у подножия Морского собора и вокруг памятника адмиралу Макарову огромную толпу черных бескозырок и голубых воротников. Редкими вкраплениями в балтийскую униформу выделялись солдатские шинели и овчинные полушубки. Сновали мальчишки, иной раз мелькали и возбужденные лица женщин. Все вместе это называлось «Кронштадтская команда».

Играло несколько оркестров. Они перекрывали постоянно возобновляющуюся канонаду с залива. Что касается большевистских аэропланов, то в общем гаме, пороховом и медном громе их моторы были вообще не слышны, а сами они казались каким-то ярмарочным аттракционом, хоть и слетали с них порой смертоносные пакеты и листовки с угрозами «красного фельдмаршала» Троцкого.

Настроение было праздничным. Никита не верил своим глазам. Вместо зловещих ожесточенных заговорщиков, ведомых вылезшими из подполья белогвардейцами, он видел перед собой что-то вроде народного гульбища, многие тысячи, охваченные вдохновением.

Странное место. Византийская громада собора, монумент человеку в простом пальто. «Амурские волны» и взрывы. Игрушечные аппараты в небе, окруженные ватными клочками шрапнельного огня. Фаталистическая игра или — вспомни отца Иоанна! — новая соборность, исповедь бунта?

С трибуны долетали крики ораторов:

— ...Товарищи, мы обратились по радио ко всему миру!..

— ...Большевики врут про французское золото!..

— ...Советы без извергов!..

Едва ли не каждая фраза покрывалась громовым «ура».

— ...Слово имеет предревкома товарищ Петриченко!..

Из черных шинелей на трибуне выдвинулась грудь, обтянутая полосатой тельняшкой. Простуды не боится. Из маузера отсюда не достанешь. Может быть, кто-то из наших, из одиннадцати, сейчас целится?

— Товарищи, ставлю на голосование вторую резолюцию линкоров! Ультиматум Троцкого отклонить! Сражаться до победы!..

Потрясенный Никита смотрел вокруг на ревущие единым духом глотки. Победа! Победа! Потом спохватился, стал и сам размахивать шапкой и кричать: «Победа». Кто-то хлопнул его по спине. Усатый бывалый военмор с удовольствием заглянул в его молодое лицо.

— Поднимем Россию, браток?!

«Ура», — еще пуще завопил Никита и вдруг похолодел, почувствовав, что кричит искренне, что втянут в воронку массового энтузиазма, что именно здесь вдруг впервые нашел то, что так смутно искал все эти годы со штурма «Метрополя» в 1917 году, когда семнадцатилетним мальчиком присоединился к отряду Фрунзе, — порыв и приобщение к порыву.

Да ведь предатели же, мерзавцы, под угрозу поставили саму Революцию ради своего флотского высокомерия, избалованности, анархизма, всего этого махновского «Эх, яблочко, куды т-ты котисся»! Какие еще могут быть порывы и сантименты в отношении этого сброда?!

Открылись двери собора, на паперть вышел священник с крестом, стали выносить гробы с погибшими при отражении вчерашнего штурма. Оркестры заиграли «Марсельезу». Моряки обнажили головы. Лазутчик Градов тоже снял шапку. Момент всеобщей скорби, мороз по коже, дрожь всех мышц — вот, очевидно, предел всей этой вакханалии, четыре года злодейств во имя борьбы со злодейством, набухание слезных желез... Да ведь это вокруг тебя Новгородское вече, свободная Русь, и ты ударишь им в спину!..

...После того как все было кончено, Никита, в числе трех уцелевших из дюжины отряда особого назначения, был награжден золотыми часами швейцарской фирмы «Лонжин». Затем его госпитализировали. Несколько дней он метался в бреду и беспамятстве, лишь на мгновения выныривая к обледенелым веточкам и снегирям за окном Ораниенбаумского дворца.

Никто никогда не говорил ему ни о характере, ни о подробностях той горячки. Он просто выздоровел и вернулся в строй. Кронштадтской темы предпочитали не касаться в военных и партийных кругах, хотя и ходили смутные слухи, что у самого Ленина на этой почве разыгралась форменная истерика. Якобы визжал и хохотал вождь: «Рабочих расстреливали, товарищи! Рабочих и крестьян!»

Никто, разумеется, не говорил в «кругах» и о том, что именно Кронштадт вывел страну из сыпняка военного коммунизма, повернул ее к нэпу — отогреться.

Не случись эта страшная передряга, не отказались бы вожди «всерьез и надолго» от своих теорий.

Вероника, дочь известного московского адвоката, была женой Никиты уже третий год, и, конечно же, она знала немало об этой тайной ране своего мужа, хотя и понимала, что знает не все. В последние две недели, после командировки, она стала серьезно опасаться за состояние его нервов. Он почти не спал, ходил по ночам, без остановки курил, а когда отключался в каком-то подобии сна, начинал бормотать заумь, из которой иногда выплывали, будто призраки, фразы, выкрики и печатные строчки кронштадтской вольницы.

«...от Завгородина — двухдневный паек хлеба и пачка махорки; от Иванова, кочегара „Севастополя“, — шинель; от сотрудницы Ревкома Циммерман — папиросы, от Путилина, портово-химическая лаборатория, — одна пара сапог...»

«...Полное доверие командиру батареи товарищу Грибанову!..»

«...Куполов, ебена мать, Куполова-лекаря не видали, братцы?..»

«...команда пришла в задумчивость, нужна литература для обмена с курсантами...»

«...Подымайся, люд крестьянский!

Всходит новая заря —

Сбросим Троцкого оковы,

Сбросим Ленина-царя...»

«...Ко всем трудящимся России, ко всем трудящимся России...»

Однажды она, набравшись смелости, спросила его, не стоит ли ему выйти из армии и поступить в университет, на медицинский факультет, по стопам отца, ведь ему всего двадцать пять, к тридцати годам он будет настоящим врачом... Как ни странно, он не на-

кричал на нее, а только лишь задумчиво покачал головой — поздно, Ника, поздно... Похоже, что он вовсе не возраст имел в виду.

Наконец они подошли к калитке дачи, на которой, как в старые времена, только без ятей, красовалась медная таблица с гравировкой «Доктор Б. Н. Градов». За калиткой мощенная кирпичом дорожка, описывая между сосен латинскую «S», подходила к крыльцу, к добротно обитым клеенкой дверям, к большому двухэтажному дому с мансардой, террасой и флигелем.

Переступая порог этого дома, всякий подумал бы: вот остров здравого смысла, порядочности, сущий оплот светлых сил российской интеллигенции. Градов-старший, Борис Никитич, профессор Первого медицинского института и старший консультант Солдатёнковской больницы, считался одним из лучших хирургов Москвы. С такими специалистами даже творцы истории вынуждены были считаться. Партия знала, что, хотя ее вожди сравнительно молоды, здоровье многих из них подорвано подпольной работой, арестами, ссылками, ранениями, а потому светилам медицины всегда выказывалось особое уважение. Даже и в годы военного коммунизма среди частично разобранных на дрова дач Серебряного Бора градовский дом всегда поддерживал свой очаг и свет в окнах, ну а теперь-то, среди нэповского процветания, все вообще как бы вернулось на круги своя, к «допещерному», как выражался друг дома Леонид Валентинович Пулково, периоду истории. Постоянно, например, звучал рояль. Хозяйка, Мэри Вахтанговна, когда-то кончавшая консерваторию по классу фортепиано («увы, моими главными концертами оказались Никитка, Кирилка и Нинка»), не упускала ни единой возможности погрузиться в музыку. «Шопеном Мэри отгоняет леших», — шутил профессор.

Разгуливал по коврам огромный и благожелательнейший немецкий овчар Пифагор. Из библиотеки обычно доносились мужские голоса — вековечный «спор славян». Няня, сыгравшая весьма немалую роль в трех «главных концертах» Мэри Вахтанговны, проходила по комнатам со стопками чистого белья или рассчитывалась в прихожей за принесенные на дом молоко и сметану.

Никита повесил на оленьи рога шубку Вероники и свою шинель, что весила, пожалуй, в пять раз тяжелее собрания котиков. Он постарался тихо, чтобы не сорвать Шопена, пройти за женой на мансарду, однако мать услышала и крикнула своим на редкость молодым голосом:

— Никитушка, Никушка, учтите, сегодня за ужином полный сбор!

На мансарде, из окна которой видна была излучина Москвы-реки и купола в Хорошеве и на Соколе, он стал раздевать жену. Он целовал ее плечи, нежность и сладостная тяга, казалось, вытесняли мрак Кронштадта. Как все-таки замечательно, что женщины снова могут покупать шелковое белье. Что ж, может быть, Вуйнович прав, говоря, что в подавлении «братвы» начала возрождаться российская государственность?

ГЛАВА II
КРЕМЛЬ И ОКРЕСТНОСТИ

Вокруг Кремля всегда вилось не меньше шепотков и кривотолков, чем ласточек вокруг его башен в погожий летний день. Что уж и говорить про нынешние времена, когда в крепости восьмой год сидят вожди мирового пролетариата. Парадоксы на каждом шагу.

Взять хотя бы ту же Спасскую башню. Хоть она и носит еще имя Спаса, но стала уже символом чего-то другого. Двуглавый орел еще венчает ее шатер, но куранты в полдень вызванивают «Интернационал», а в полночь — «Вы жертвою пали».

В городе ходит молва, что под Кремлем с неизвестными целями расширяется паутина тайников-колодцев и подземных ходов-слухов. Странные россказни циркулируют о жизни семейств Каменевых и Сталиных, о придворном большевистском пиите, поселившемся дверь в дверь с вождями в здании бывшего Арсенала, — Демьяне Бедном, которого, каламбуря вокруг его настоящей фамилии, столичные литераторы называют Демьян Лакеевич Придворов.

Странности и жути еще прибавилось, когда главного обитателя после его кончины забальзамировали и вынесли за крепостную стену в хрустальном гробу всем на обозрение. Что за извивы воображения и как их совместить с материалистической философией, с тем же Энгельсом, что завещал свой прах развеять над океаном?

Великие соборы Кремля закрыты, но купола их и кресты все еще пылают, стоит лишь солнышку пробиться сквозь среднерусскую хмарь, переливаются в соседстве с множественными красными струями новых знамен и паучковыми символами перекрещенных орудий труда.

Гордая итальянская крепость на вершине Боровицкого холма, трижды сожженная с интервалами в двести лет ханом Тохтамышем, гетманом Гонсевским и императором Наполеоном и снова поднявшая свои шатры и «ласточкины хвосты» стен, что тебя ждет в непредсказуемом мире?

Три «роллс-ройса» наркомата обороны поначалу пересекли Красную площадь как бы по направлению

к воротам Спасской башни, однако неожиданно проехали мимо, спустились к Москве-реке, обогнули крепость с южной и западной сторон и вкатились внутрь через предмостную пузатую Кутафью башню. Такая тактика внезапных изменений маршрута была недавно разработана для предотвращения терактов. Тактика, прямо скажем, немудреная, построенная на вековечном «береженого Бог бережет», однако и в самом деле, окажись где-то у Спасских ворот засада (все-таки ведь немало же еще и за границей и дома вполне боеспособных антисоветчиков), Рабоче-крестьянская Красная Армия была бы одним ударом обезглавлена. В первой машине следовал нарком Фрунзе, во второй — главком-Запад Тухачевский, в третьей — главком-Восток, кавалер ордена Красного Знамени № 1 Василий Блюхер.

Фрунзе был мрачен. Фактически он направлялся на совещание вопреки решению Политбюро. Именно это обстоятельство, а не болезнь сама по себе, угнетало его. Проклятая язва-то как раз в последнее время меньше давала о себе знать. Лечащие врачи обнадеживали — анализы показывают, что не исключен процесс рубцевания, то есть своего рода самозаживания. Однако вот эта тягостная и все нарастающая забота товарищей... конечно, можно понять многих из них, прошлогодняя трагедия, кончина Ильича, так потрясла партию, однако нет ли здесь перестраховки и... если называть вещи своими именами, не ведут ли некоторые какой-то странной двойной игры?..

Фрунзе не любил повышать голоса (пуще всего боялся превратиться из красного командира, сознательного революционера в старорежимного деспота и солдафона). Но он очень здорово умел прибавлять к голосу нечто такое, что сразу давало понять окружающим — возражения излишни. Вот именно с эти-

ми модуляциями он приказал сегодня утром подать в палату полный комплект одежды и, одевшись, немедленно отправился в наркомат, а оттуда в Кремль.

По дороге, в машине, он ни с кем не разговаривал, даже на верного Вуйновича старался не смотреть. Странные все-таки складываются нравы среди руководства. Взять отдельно некоторых людей; по мере удаления от горячки Гражданской войны, то есть по мере взросления, если еще не старения, сколько выявляется малопривлекательных качеств: вздорность Зиновьева, зловещая непроницаемость Сталина, наплевизм Бухарина, никчемность Клима, сутяжничество Уншлихта — каждому по отдельности ты знаешь цену, но собранные вместе они превращаются в высшее понятие — «воля Партии». Парадокс в том, что без этого мы не можем, Ленин это понимал, мы развалимся без этого мистицизма.

Мысль о том, что ему пришлось сегодня переступить через «высшее понятие», пусть в интересах дела, в интересах самой республики, но совершить самоуправство, не давала покоя Фрунзе. У него, что называется, сосало под ложечкой, а когда «роллс-ройс» стал покачиваться на торцах Красной площади, показалось даже, что эта легкая качка отдается в животе. Он приложил перчатку ко лбу.

Курсанты школы ВЦИКа, несущие внутреннюю службу в правительственных помещениях, стояли по стойке «смирно». На их лицах, где по идее не должно было быть написано ничего, читалось преклонение. Три легендарных командарма в сопровождении своих чуть приотставших помощников (по-старому адъютантов) проходили по лестницам и коридорам Кремлевского дворца; это ли не запоминающееся на всю жизнь событие? Шаги их были крепки, и все они представ-

ляли идеал мужества и молодой зрелости. И впрямь: старшему, Фрунзе, было к тому моменту всего лишь сорок, Блюхеру — тридцать пять, а Тухачевскому — тридцать два года. Существовала ли когда-нибудь на Земле другая армия с таким молодым и в то же время преисполненным колоссальным боевым опытом командным составом?

Последняя пара курсантов, несущая караул у святая святых, открыла двери. Командармы вошли в зал заседаний — большие окна, лепной потолок, хрустальная люстра, огромный овальный стол. Иные участники заседания еще прогуливались по упругому ковру бухарской работы, обменивались шутками, другие уже сидели за столом, углубившись в бумаги. Все они были, что называется, мужчины в полном соку, если пятидесяти, то с небольшим, все в хорошем настроении: дела у республики шли как нельзя лучше. Одетые либо в добротные деловые тройки, либо в полувоенную партийную униформу (френч с большими карманами, галифе, сапоги), они обращались друг к другу в духе давно установившегося в партии чуть грубоватого, но как бы любовного и мягко-иронического товарищества.

Посторонний внимательный наблюдатель, вроде промелькнувшего в нашем прологе профессора Устрялова, может быть, и заметил бы уже начинавшееся расслоение и появление того, что впоследствии было названо «партийной этикой», согласно которой кто-то кого-то мог назвать «Николаем» или «Григорием», а другой обязан был подчеркивать свое расстояние от всемогущего бонзы, употребляя отчество или даже официальное «товарищ имярек», однако нам пока что соблазнительно подчеркнуть, что все на «ты» и все свои.

«Сменовеховцы», а они, как все русские интеллигенты, любили подстегивать факты к сочиненным

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I. Скифские шлемы 7
Глава II. Кремль и окрестности 30
Глава III. Лечение Шопеном 70
Глава IV. Генеральная линия 86
Глава V. Театральный авангард 105
Глава VI. √РКП(б) 113
Глава VII. На носу очки сияют! 142
Глава VIII. Село Горелово, колхоз «Луч» 170
Глава IX. Мешки с кислородом 178
Глава X. Зорьки, голубки, звездочки... 199
Глава XI. Теннис, хирургия и оборонительные мероприятия 212
Глава XII. Шарманка-шарлатанка 224
Глава XIII. Жизнетворные бациллы 235
Глава XIV. Особняк графа Олсуфьева 252
Глава XV. Несокрушимая и легендарная 260
Глава XVI. А ну-ка, девушки, а ну, красавицы! 279
Глава XVII. Над вечным покоем 300
Глава XVIII. Рекомендую не рыдать! 319
Глава XIX. «Мне Тифлис горбатый снится» 344
Глава XX. Мраморные ступени 375